

Владимир Глянц

Дыхание Чейн-Стокса

и другие рассказы

«Дюказ-68»

Вышла... Белая... проста...
...для меня
...и все же доста-
...прожиданных местах.
...того же дня фести-
...ствования страшную

Владимир Глянц

**«Дыхание Чейн-Стокса»
и другие рассказы**

«Пробел-2000»

2014

УДК 821.161.1-32
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

Глянц В. М.

«Дыхание Чейн-Стокса» и другие рассказы / В. М. Глянц —
«Пробел-2000», 2014

ISBN 978-5-98604-379-1

О чем эта книга? Она о любви. О любви автора к своему детству, родным. Некоторые страницы детской тетради дышат подлинным лиризмом, другие – полны драматизма. Сложней обстоит дело с пьяной тетрадью. Детство кончилось. Чтобы измерить границы свободы, герою приходится опускаться и в преисподнюю. Но надежда никогда не оставляет героя.

УДК 821.161.1-32
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

ISBN 978-5-98604-379-1

© Глянц В. М., 2014
© Пробел-2000, 2014

Содержание

Несколько слов от автора этой книги	6
Из детской тетради...	8
Страшная болезнь	8
В детство – проходным подъездом	10
Страх высоты	26
Спички	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Владимир Глянц

«Дыхание Чейн-Стокса» и другие рассказы

*Посвящаю Наталье Юрьевне Глянц – милой моей и все
претерпевшей жене*



Стойкий тромбоз на Цветном бульваре вдруг передернуло, и я взглянул вокруг. Потрясающе! Все крыши были плотно усыпаны народом. Я такого никогда не видел. Наконец, мы пошли. Но пошли какой-то судорогой. Мое правое плечо все время заносило. Впереди, за несколько рядов от нас одного высоченного мужика вообще развернуло, и он теперь шел вперед задом, а к нам – лицом. Мама, что-то почувствовав, так крепко схватила меня за руку, что не помогла и варежка. На меня накатил страх.

Вдруг впереди раздался истошный женский вопль. В ту же секунду мама стала выдергивать меня из людской массы назад. Впереди ощущалась гигантская все и вся засасывающая воронка, в которую несло хотевших и нехотевших. Потом мама обняла меня, чтобы дергать за руку вместе со мной. А то так недолго и оторвать руку. И снова дергала меня мама, дергала, дергала. В поту и азарте, вся красная, она одна боролась с этой болотной засасывающей трясиной и по миллиметру, по сантиметру выдергивала и выдергивала меня назад. Откуда-то спереди раздавались совсем уже душераздирающие крики и стоны, трудно, медленно, долго и больно мама отвоевывала меня у смерти для жизни.

Несколько слов от автора этой книги

Некоторые мои друзья думают, что я прежде всего поэт. Однако еще в шестидесятые годы я ходил в лито «Магистраль» именно на секцию прозы. Грешно преувеличивать свою роль в истории, обидно – преуменьшать.

Уже в зрелые годы любовь к русской классике, глубокое погружение в русский XIX век вылились в серьезную книгу о Гоголе. Она писалась долго и трудно. Один знакомый предупредил: «Наступит время, когда ты так перенасытишься прошлым, что от одного имени Гоголь тебя будет мутить». Действительно, такое время наступило. Чтобы не простаивать, я засел за рассказы.

Эта книга состоит из двух разделов. Первый в основном и писался в межгоголевских антрактах. Он ностальгичен, не напрямую автобиографичен. Здесь дышит настаивающийся хмель детства. Но это не мемуары. Такого рода проза – всегда творческая реконструкция. Просто берется сачок для ловли бабочек, и вперед (в смысле – назад) – за солнечными бликами и запахами своего детства.

Есть люди, и их немало, которые стесняются своего детства. Я свое – люблю, всегда рад встрече с ним. Поиски утраченного времени – это, собственно, вечные поиски утраченного счастья. Вечное копание в чемоданах чужих писем, выброшенных поколением «пепси» на помойку. Но проходит ли моя проза тест на совместимость с новым временем? Хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мое иллюзорное как-то вплелось в миражи настоящего.

Знакомый насмешник сказал мне: «А, по-моему, ты излишне политизируешь свои воспоминания. Наверное, кипевшая вокруг взрослая жизнь как-то влияла на того мальчика, которым ты вряд ли себя помнишь, но не поверю, что таково по своему удельному весу было ее «тлетворное» влияние. Тут ты проливаешь пустую слезу...»

Гоголь наделял собственными «гадостями и мерзостями» своих персонажей и по его собственному признанию так чистил себя. Действительно, на вопрос – над чем работаете? – самый честный ответ – над собой. Я пишу от первого лица. Читательскому представлению об авторе это наносит определенный ущерб. Но эта же самая исповедальность объединяет два столь непохожих цикла, каковы, условно говоря, «детская» и «пьяная» тетради. Персонаж Гоголя просит: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Я верю, что все ныне «черненькие» имели свою белейшую предысторию, что во тьме взрослого бытия зажигается иногда свет детства, который и греет и спасает.

И все-таки время, описываемое во втором цикле, это время пивных и всяческого подзабора. Так получилось. Целые коллективы – заводы, стройки, издательства, трамвайные депо и театры – «употребляли» и даже злоупотребляли без меры и числа. Это время алкогольного протеста в жизни и неореализма в литературе. Время грубовато-веселое и одновременно горестное из-за раннего ухода друзей. Встреча с реальной жизнью обернулась разочарованием и болью. Но в этих-то испытаниях, если здоровья хватит, можно обрести и собственный писательский голос, и свою, неповторимую интонацию. Внутри нашей отечественной литературы существует особая струя – своеобразная «отреченная» литература. Ее авторы – Венедикт Ерофеев, Глеб Горбовский, Сергей Довлатов, в какой-то мере Андрей Битов и Виктор Конецкий.

Вот преимущество тех авторов, которые сами пишут себе предисловия. Всегда можно как бы случайно затесаться в приличную компанию...

Но оказываешься в ней не для того, чтобы примазаться к более удачливым и знаменитым, а просто из-за общности судеб. Это наше общее время, другого нам не досталось. Что же было характерно для пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века? Да, проливалось заметно меньше крови своих. Зато лилось из репродукторов все больше и больше вранья. Перешагнуть через товарища Сталина и пойти дальше – не получалось. Он накрепко закогтил своих много-

численных адептов. Требовалась естественная смена поколений. На это ушли годы. Годы бездарной пробуксовки. Когда уже многое понимаешь, но ничего не можешь. Это многим сломало их творческие судьбы...

Не скрою, мне нравится авторская работа со словом. Она всегда тщательная, любовная. Автор любит слово. А иногда – и оно его.

В сборнике есть несколько вещей, надеюсь, не временного звучания. А вот тут уж ничего не подскажу читателям – сами!..

Из детской тетради...

Страшная болезнь

Лет в пять, помню, я уже ясно ощущал случайность своей жизни. Я чуть не умер, едва родившись. Мама говорила, что в роддоме орудовала банда матерых вредителей. Будто бы они заражали диспепсией именно мальчиков, на которых был после войны повышенный спрос. Мама слишком рано лишилась своей собственной мамы, вся ее неприкаянная детдомовщина, все страхи и ужасы ее раннего детства, пришедшегося на Гражданскую войну, спеклись в ней тяжелыми, никем не утешенными рубцами. С самого начала жизнь ей сдала такую беспросветную карту, что у нее не было не только богатых, зажиточных или образованных родителей, но вообще никаких, и она, как щенок, доверчиво прижалась к холодной и невкусной груди чужой тетки – советской власти. Нет, это точно, что именно советскую власть она и считала своим ближайшим родственником. Это она дала ей, сироте, образование, подобрала приемных родителей с безупречной советской биографией, а потом и двух, ни в одной антисоветчине не замешанных, а следовательно, благополучно переехавших 37-й год мужей.

Имея таковых-то, условных деда с бабой, я прежде всего другого и почувствовал холод и неприветливость враждебного мира, в который я по ошибке вступил.

Запах подгоревшего молока, который я презирал, ежеутренняя пытка ненавистной манной кашей только убеждали меня в том, что я рожден на муки. У меня поначалу не было никакого вкуса к жизни, словно бы вопрос о моем рождении все еще оставался открытым и поправимым. И уж совершенно точно я чувствовал свою инаковость в сравнении с другими мальчишками, которым и этот вкус к жизни и даже как бы некоторое знание ее таинственных начал были даны от рождения. Эти были не сопливые лирики, как я, а маленькие зубастики и крошечные горлохваты. Они точно знали, как получить дополнительную порцию компота, где надо ходить, чтобы ни за что ни про что вдруг (невероятное, возмутительное везенье!) найти кем-то потерянный перочинный ножик. Может быть, даже мой ножик. Словом, там, где мне надо было бы заканчивать специальные курсы по овладению необходимыми жизненными навыками, – они инстинктивно врубались и сразу хозяйничали, словно век знали все местные премудрости.

Диспепсия, чуть не погубившая меня при самом появлении на свет, смутные разговоры родителей о моем будто бы неважном, да-да, не ахти каком сердце и множество других более мелких пинков и подножек, открывавших недружелюбное лицо жизни, – все это рождало во мне ощущение неуверенности и ненадежности существования. Я был готов к любым неприятностям, я ждал их. И когда как-то раз, давясь в детском саду ненавистной манной кашей, дыша кое-как, вполноздри, чтобы не ранил доносящийся с кухни глубоко презираемый мною запах подгорелого молока, я сделал это жуткое открытие о своей смертельной болезни, – я испугался, но не удивился. Возя от скуки пальцами по лицу и голове, я вдруг нащупал за ухом, прямо по центру какой-то остро отточенный отросток плоти. «Наверное, вот это и есть рак», – с острым до наслаждения пессимизмом подумал я.

Я не знал, бывает или не бывает рак уха, но у одного парня из нашего дома, у Норика, был же рак носа, почему бы не быть и раку уха? В ту же минуту меня поразила другая мысль: наша земля не имеет конца, ведь если очень далеко (отсюда – не видать) поставить на земле последний, окончательный забор и сказать, что этим забором ограничивается вся земля, то сразу возникает вопрос: а что за этим забором? Ответ для меня, еще не ведающего о том, что земля имеет форму шара, был очевиден: за забором будет та же земля, а за самой последней звездой в небе – еще какая-нибудь звезда. В такой форме лет пяти от роду, будучи к тому же

чуть ли не в шаге от смерти, я додумался до бесконечности Вселенной. И снова нащупав у себя за ухом остро вспухший комок плоти, я потискал его пальцем – больно не было. «Так же и рак, – подумал я, – он начинает болеть, когда делать операцию уже поздно».

В детство – проходным подъездом

Стояла середина марта, и денек был пасмурный. Я случайно оказался на Ново-Басманной и решил заглянуть в родные места. Еще не заходя в нашу подворотню, я остановился у типично усадебного дома № 4, который в детстве видел тысячи раз. Мне надо было удостовериться в недавно прочитанном. Оказывается, здесь была усадьба князей Куракиных, которая в середине восемнадцатого века была передана князем под богадельню для инвалидов русско-турецкой войны. Я убедился, что во внутреннем дворе на задней стене два действительно не очень логичных окошка. Фасада, как такового, нет. Это кажется странным, если не знать, что тут еще сравнительно недавно была вплотную пристроенная большая церковь Святителя Николая, которую сломали в эпоху повального сноса храмовых зданий в 30-е годы. В этом случае у двух асимметричных окошек на как бы фасаде появлялась своя, не архитектурная логика.

В мое время дом № 4 назывался татарским. В нем жили в основном малограмотные татары с семьями, которые были технической службой МПС. Здесь жили очень бедно. И чтобы получить настоящее представление об уровне жизни здешних обитателей, это «жили бедно» надо разделить и на два и на три. Если уж бедность бросалась в глаза в 40-50-е годы, когда и все мы жили весьма небогато, значит, она была настоящей нищетой. Когда-то богатый дом этот в мое время служил только прихожей другого огромного дома, построенного в начале 30-х годов уже XX века и стоявшего в глубине двора.

Неторопливо войдя в подворотню, припоминая, пошел я по первому двору. Вот здесь, под лестницей месткома мы курили. Здесь вот была замечательно богатая на находки помойка, которой заведовал дворник Трофим. В этой подстанции, с другой стороны, мы с Толиком Кривым организовали тимуровский штаб. Толик Кривой был слегка прибалтанный парень. Игрой в тимуровцев я, видимо, лукаво прикрывал от весьма зоркой и чувствительной к моим знакомствам мамы эту сомнительную дружбу.

Вдруг я почувствовал сильный удар сердца. Что-то было связано с этой насосной будкой. Я несколько лунатически, так как вступил на топкий путь галлюцинаций о прошлом, подошел к ней поближе. Будка мелко дрожала от работающего внутри ее насоса. От нее сильно разлило специфически машинным духом с примесью запаха каких-то перепревших тряпок. И запах этот тоже был давним, почти древним знакомым, в такую даль отправил он мою память. Я с трудом открыл маленькую железную дверь и увидел сам насос, бившийся в своих обычных судорогах. Я опять же лунатически нагнулся и бессознательно сунул руку в трещину цементного фундамента. Рука сама нащупала в соре и пыли какое-то прямоугольное твердое тело. Еще не зная, что это, я испытал сильное волнение. Обтерев черную пластмассовую коробочку от пыли, радостно узнавая ее, но так и не вспомнив, что она такое, я отковырнул ногтем крышку. В коробочке лежал ссохшийся старенький ластик с криво вырезанными на нем буквами.

С одной стороны было вырезана звездочка, под ней надпись НАЧШТАБА. С другой стороны под надписью Сов. Секретно – череп и кости.

Неужели сорок лет назад эти буквы вырезал я? Бережно опустив коробочку в карман и в твердой уверенности, что это только начало, я отправился дальше.

Вот здесь – в четвертом подъезде, как-то зимой в борьбе я случайно сломал ногу лучшему другу Гене Криворучко. Дело было не в моей силе или ловкости, а в его слишком скользких бурках. Злые языки потом говорили, что я из Криворучки сделал Кривоножку. Я же был потрясен своим злодейством. Генкина мать ворвалась к нам, когда мы сидели за ужином.

– Негодяй! – закричала она с порога, потому что мама не особенно гостеприимно загородила ей путь в квартиру. – Что ты наделал? Ты изуродовал Генку!

Это был словно вопль моей собственной совести. Продолжая бессознательно держать хлеб в левой руке, я вскочил и быстро-быстро, захлебываясь в словах и брызнувших слезах, заговорил:

– Простите! Простите, я не хотел. Если вы не простите меня, я не знаю, что я сделаю.

– Зато я знаю, что я сделаю, – зловеще сказала маленькая, толстая женщина, все время порываясь вперед и пытаюсь сократить то немалое расстояние, которое разделяло нас, но, удерживаемая мамой на пороге, продолжала кричать в раскрытую дверь комнаты сквозь неосвещенный коридор. Значительное расстояние, разделявшее нас, притом же еще и неосвещенное, самой своей чернильной тьмой как бы разряжало испепеляющий заряд ее слов, и до меня они долетали уже изможденными.

– Зато я знаю, что я сделаю! Я напишу письмо в «Пионерскую правду»! И подам в суд!

– Я виноват-виноват. Простите-простите, пожалуйста, – еще продолжал бормотать я, как вдруг все покрыл мощный голос мамы:

– Молчать! Вовка, молчать! Никогда не холуйствуй!

Не думаю, чтобы мама была против моего вполне законного раскаяния. Но дело в том, что мама ничего не знала о сломанной ноге. Она еще до ужина видела, что я чем-то подавлен и пыталась меня разговорить, но я закрылся. И все-таки мамино возмущение скорее было адресовано не мне, а Генкиной матери, и означало оно что-нибудь вроде:

– Ну-ка, дамочка, без истерик. Вот так. Вы здесь не получите ничего. Даже извинений.

Я и по сей день в восхищении от того, как верно реагировала мама, еще совершенно не понимая в чем, собственно, дело. Разумеется, Генкина мама и не думала выполнять своих угроз, они сыпались сами собой, в эмоциональном исступлении, и были вполне извинительным словесным возмездием. Не ломать же в самом деле в виде стопроцентного возмещения еще одну ногу. Все участники этого маленького спектакля вели себя великолепно и достойно: Генкина мать защищала своего Генку, мама защищала меня, я раскаивался. Зрители – папа, Валерка и Танька как бы в потрясении изображали немую сцену. Папа с поднятыми бровями, Валерка с нанизанной на вилку и застывшей в воздухе сосиской, Танюшка в позе отличницы, со сложенными перед тарелкой руками.

Спустя время, когда Генка впервые вышел на костылях во двор, я подошел к нему с робкими, но не слишком навязчивыми извинениями. В той робости высказывалась моя вина, зато в ненавязчивости – гордость. Ведь даже в горячке выплеснувшись тогда слов мамино слово о холуйстве обожгло. Я хорошо помнил, кто был вдохновителем всей этой драмы. Замерзнув, мы с Генкой зашли в подъезд, а там от скуки стали бороться, но так – вяло и невинно. Откуда ни возьмись нарисовался старшеклассник Юшкин и пристал к нам, как банный лист. До пота бегал он вокруг, подначивая то меня, то Генку:

– Ну-ка поддай ему! Что ты – слабак, что ль, врежь ему покрепче! А ты что, хилек, не можешь ответить? Ну-ка, двинь как следует!

Юшкин был соседом Генки по подъезду. Я всегда чувствовал его недоброжелательство. Он ли что-то напел Генке против меня, не знаю. Только Генка так и не принял моих благородных извинений и разбитую дружбу склеивать не захотел.

Вот здесь, в пятом подъезде в полуподвале жил Толик Кривой, который учил меня курить и собирать бычки. В благодарность за это я приобщал его, как мог, к тимуровскому движению. Но интересно, что до тимуровской помощи пожилым людям дело так и не дошло. Я считал, что мы и пальцем пошевелить не можем, пока у нас нет настоящего тимуровского штаба. Как видно, я уже в этом, таком еще нежном возрасте был сложившимся бюрократом...

Проходными в нашем корпусе были все первые пять подъездов. Но в действительности насквозь проходным был только пятый. У остальных выход на второй двор был заколочен.

Я постепенно вживался в полузабытое старое и скорее не вспоминал, а отдавался во власть очень давних, полузабытых привычек, которые вдруг ожили и заговорили во мне. Мне

захотелось пройти как когда-то проходным подъездом. А надо сказать, что еще раньше я краем глаза отметил, что во внутреннем дворе почти нет ребятни. Помню, меня это неприятно поразило. Но тут же легко представилось объяснение: бывшие мои соседи по дому состарились. Это было грустно. Я вошел в полутемный подъезд с таким узнаваемым едким кошачьим запахом, как будто и не прошло с тех пор сорок лет.

Известно, что запахи – самая лучшая машина времени. Изрядно зачерпнув этого острого духа, я мгновенно пережил странную метаморфозу: ноги мои стали как будто легче, и сам я стал легче. Я мимолетно вспомнил, что на днях в Щербаковском универмаге мама купила мне китайские кеды, и это мой первый выход в обновке. Я сильно разбежался по кафелю и, как обычно, выломил противоположные двери. Солнце ударило мне в глаза. Был великолепный день конца мая, и двор просто кишел детворой. Что же здесь удивительного? В трех дворах нашего шестнадцатиподъездного дома играли в казаки-разбойники, лапту, штандр, отмерного, слона, чижики, ножички, казеночку, пристеночку, футбол, салочки простые и салочки с домиком, расшибец, города, войну, пряталки, в уже появившийся и завладевший нашими сердцами пинг-понг, а также в бесчисленные игры собственного сочинения – сотни ребят.

Я потому не называю девчоночьи игры, что миры пацанов и девчонок были жестко разграничены. Совершенно невозможно представить, чтобы кто-нибудь из ребят нашего двора сыграл хоть разок в девчоночьи «классы» или «ляги». Можно было навеки получить презрительное клеймо девчоночника. Виновницы же нашего невольного самоограничения были смелей и иногда примыкали к какой-нибудь нашей игре из тех, что не являлись исключительно мальчишескими. Кажется, «штандр» не имел половых ограничений. Я давно заметил, что, когда в общей игре участвовала девчонка, у игры появлялся особый тайный привкус, особые очарование и прелесть. Как много тогда могли значить интонация, быстро брошенный взгляд, случайное соприкосновение, даже столкновение. Как легко тогда было уступать даже самым неуступчивым. Как мало тогда значило победить. Смысл игры невероятно, неузнаваемо менялся. Я подозреваю, что тайно многие из нас были девчоночниками, да то и жизнь доказала.

Легкой пружинящей походкой (в китайских кедах были замечательные стельки из поролон – слово, кстати, именно тогда впервые услышанное) я подошел к Витьке Залому, который, по слухам, был уже перворазрядником по пинг-понгу, и занял очередь за ним. Пока она медленно тянулась, я с несколько идеальной завистью, даже в мечтах никогда не переходившей в практическую плоскость, разглядывал его знаменитую губчатую ракетку, которая имела пижонское название «сэндвич» и, естественно, не доверялась никому. Ракетка была оклеена с одной стороны более жесткой губкой (бить), а с другой – более мягкой (крутить). Занимать за Витькой было бессмысленно, так как выиграть у него мало кто мог. Конечно, меня он высадит и будет последовательно высаживать всех до наступления темноты. Эта жесткая предопределенность сразу делала азартную игру скучной.

В ожидании своей очереди кое-кто из ребят постарше уже покуривал полуоткрытым способом, из кулака, скрываемого в рукаве.

1

Лучше всего мне бывало в парикмахерской. Дома – нелады, во дворе и его окрестностях драки «до первой кровянки» и вечное: кто кого? Я, сколько позволяли обстоятельства, уклонялся от словно навязанной кем-то обязательной борьбы, и борьбы, и борьбы. Меня тянуло в чужие дворы, где не так густо было нашего брата. Однако идеальным убежищем на века была парикмахерская.

«Ландыши, ландыши – светлого мая приве-ет», – уютно и мирно мурлыкало радио. Очередь сонно листала взлохмаченные «Крокодилы» и «Огоньки». Люди стригли и стриглись.

Мастера иногда перебрасывались фразами, одновременно и обслуживая и игнорируя клиентов. Что ж, клиентов много, успевай только замечать, как меняется под гребнем форма головы.

По всему: по тому, что были в домашних тапках на босу ногу, а мастера-женщины летом, с особым профессиональным бесстыдством, еще и в халатах на босо тело; по тому, что в голос обсуждали свои семейные дела; по особой привольности и раскованности движений, – было видно, что как заведенная работа мастеров была им вроде отдохновения, а парикмахерская – вторым домом.

Это позже парикмахерское дело стало определенно женской профессией, а тогда, вскоре после войны, среди мастеров было довольно много мужчин. В то время еще не придумали, наверное, комсоста-вовских парикмахерских. Во всяком случае, мелкие и средние начальники сидели в общей очереди. А что эти хмурые дядьки именно начальники, это вам любой пацан подтвердил бы. Мы-то уж их безошибочно просекали, от них ведь вечно исходила угроза нашему существованию. Но и они в парикмахерской были временно не опасны. То ли вот это мурлыкающее радио их умиротворяло, вся вообще чистая, напоминающая банную, обстановка, то ли нетягостное блаженное ожидание, которое законно, хоть и мимолетно, отрывало их от исполнения тягостных обязанностей. Если бы не постоянное опасение попасть под их нерассуждающий гнев, мне бы их было даже жалко. По моим детским наблюдениям, начальники умирали гораздо чаще обыкновенных людей. Позже я догадался, что взрывная агрессивность начальников была, возможно, следствием их фронтовых контузий и всего вообще перенапряжения военных лет. Возможно, по этой же причине так кучно они и уходили из жизни. С обязательными, примерзающими к мундштукам, но в общем-то совершенно посторонними музыкантами, коллективно выдувавшими нечто, как говорила мама, душераздирающее, с орденскими вылинявшими плюшевыми подушечками впереди гроба (куда эти орденки потом девают? – всегда мучился я) и с нетающими на желтом лице снежинками... Вот почему в детстве на каждого начальника я смотрел, как на завтрашнего покойника.

Мама работала в Министерстве путей сообщения СССР, и наш огромный, шестнадцатиподъездный дом был, так сказать, его жилым приложением. Собственно, это был даже не дом, а при тогдашней плотности заселения – целый городок. Тысячи полторы жителей, несколько сотен детей.

Из большой комнаты наших соседей всегда было видно горевшее окно маминого кабинета в министерстве. Иногда, когда я внезапно и очень остро начинал скучать по маме или тревожиться за нее, я просил соседку, Елену Марковну, пустить меня посмотреть. Иногда Елена Марковна пускала меня посмотреть на маму, и я с чувством острого любопытства к чужому быту входил в их большую комнату, изо всех сил стараясь не очень шарить глазами по сторонам, чтобы, во-первых, не быть неделикатным и, во-вторых, чтобы не рассеять посторонними впечатлениями своей жгучей тоски по маме. (Дети не хуже взрослых культивируют свои переживания.) В иных случаях смотреть даже необязательно, достаточно вдыхать запах чужого жилья и удивляться тому, что ишь ты какое дело: каждый, оказывается, живет со своим запахом.

Хоть и далеко, но в ярко освещенном окне было хорошо видно маму, вечно разговаривавшую по телефону с какой-нибудь Закавказской или там Забайкальской железной дорогой. У одной только моей мамы было на столе целых четыре телефона (чем я при случае хвалился), и иногда она говорила одновременно сразу с двумя дорогами, а третья дорога лежала на столе, ожидая своей очереди. Я смотрел на маму с нежным и щемящим чувством. Бедная! Она и не догадывалась, что я в эту минуту гляжу на нее. Необожденность чувства и зрения, одностороннее мое подглядывание делало взрослую маму совсем беззащитной, и в острой жалости к ней сладко изнывало мое сердце. Мама дорогая!..

Нет слов, работа у мамы была очень сложная, и мама очень серьезно к ней относилась. Не то что Анна Яковлевна или Шашурина. Эта Шашурина была известной в нашей семье симулянткой. Мама говорила возмущенно:

– Нет, что эта хабалка опять выдумала! У нее, видите ли, шизофрения. Шизофрения – так сиди дома! (Сидеть дома – означало оставить работу.) А ты что? То под свою липовую шизофрению помощь выбьешь, то путевочку отхватишь, то, вот, на больничном какую неделю сидишь, а Лапина – лошадь! Лапина – тащи! – вечно атакующем своем стиле кипятилась мама.

Оно и понятно, посидеть на больничном, чтобы все в доме перестирать и перештопать, было для нее недостижимой, неисполнимой мечтой. Как раз и попадешь под сокращение штатов.

Перманентная угроза возможного сокращения никогда не исчезала вовсе – нить то слегка ослабевала, то вновь, угрожая лопнуть, натягивалась. Признаться, я не помню ни одного случая такого сокращения. Скорее всего, это была несложно сочиненная узда. Просто поразительны тогдашнее простодушие и почти детское легкоеверие совершенно взрослых людей!

– Сократят – посидишь дома, – успокаивал папа.

– Богатенький какой! Тыща двести на дороге не валяются. Еще у тебя кишка тонка четверых тащить, – резала мама.

– Если кому и беспокоиться, то, во всяком случае, не вам, Зоя Никаноровна. Таких грамотных и работающих сотрудников начальство обычно не трогает. Иначе ему не на кого будет опираться, – сильно картавя и, по-видимому, из собственного начальнического опыта говорила Елена Марковна.

– Что вы-то можете в этом понимать? Вы сами – завотделом! А у Лапиной – любая дворняжка знает – руки нет. Лапина – неблатная, – с гордостью, сложно перемешанной с горечью, говорила мама.

– Зоя, успокойся, – говорил не относящееся к делу папа.

Слабохарактерный, он считался у нас не имеющим собственного мнения по принципиальным вопросам и всегда беспринципно стремился к миру. Как не понять, папа, что ведь не до мира в этом вечно атакующем и агрессивном мире!

Мамина принципиальность мне больше нравилась. Беда, что из-за нее частенько рушилось согласие и приходилось укрываться, где попало.

Родительские темпераменты были как бы обусловлены их партийной принадлежностью. Мама была партийная, папа – «не состоял». Таким образом, партийная мама была как бы Фурмановым при беспартийном Чапаеве – папе. Тут у нас, правда, вконец перепутались национальные роли. Так то ж были не двадцатые, а пятидесятые годы...

Едва ли было не так, что там, где-то на ихних закрытых партийных собраниях и парт-активах им строго внушали, что вы, де, должны воздействовать, и крепко воздействовать, на беспартийных членов семьи, ни на минуту не ослаблять партийной хватки на дому.

2

Каланчевская улица, где располагалась милая мне парикмахерская, была, так сказать, местным торговым центром. Она начиналась, если идти к трем вокзалам по моей, правой стороне, бакалейным «инвалидным» магазином и заканчивалась «Южным» гастрономом. Я еще застал и помню нескончаемые послевоенные очереди за мукой, заползавшие во двор «инвалидного» магазина. Это бывало под большие советские праздники – 1 Мая и 7 Ноября. На каждой ладони еще с вечера химическим карандашом писался персональный номер. Я свой номер обычно, сам не знаю почему, зажимал в ладони. Чтобы не украли или – по школьной привычке – чтоб не подглядели?

Тогда хозяйки еще не то что не потеряли вкуса, а только что входили во вкус домашней выпечки. Тем и запомнились праздничные кануны: в каждом подъезде – изумительно, восхитительно, соблазнительно, волшебное! – пахло ванилью и пирогами всех мастей.

Мама, как истинная не сказать москвичка, но горожанка, выпекала еще в специальном «чуде» кексы. На ее взгляд, они были несколько, что ли, более культурным, более городским продуктом по сравнению с «деревенскими» пирогами. Я в то время еще не был таким большим снобом, как сейчас, и противно жирным кексам предпочитал легкие пироги. А пирожки вообще мог есть не уставая.

Выйти во двор с каким-нибудь лакомством считалось шиком. «Сорок один – ем один», – кричал обладатель съестного припаса, сразу отсекая еще только зарождающиеся покушения. Но если зазевался и вовремя не произнес охранную формулу, пиши пропало...

Сразу за «инвалидным», без промежутка, шла еврейская галантерейная палатка с огромными голубыми и розовыми женскими штанами, всегда вызывавшими у меня чувство брезгливости и стыда. Мама их называла трико. При звуке этого слова я мог густо покраснеть. Они простодушно вешались напоказ, прямо на улицу. И весь день отвешивались, шевеля своими необъятными плотными штанинами. В этой палатке как-то по случаю я купил тяжелый свинцовый пугач, отлитый в форме револьвера. Пугач оглушительно (о светлая музыка взрыва!) стрелял начиненными взрывчаткой глиняными пробками, которые и по форме своей и по цвету действительно напоминали самые настоящие пробки, только были не мягкими, а твердыми. Говорили, что эти пугачи очень опасны. Мой и вправду однажды после выстрела развалился прямо у меня в руках. Взрывом безобразно разворотило его фальшивый барабан, а великолепная тяжелая рукоятка с насечкой осталась в целости.

Мальчишкой я любил хвастать случаями, когда жизнь моя висела на волоске. История с пугачом долго была украшением моей коллекции страшных историй, в которых я ну вот еще чуть-чуть – и погиб бы. Самой же страшной была история с профессором Виноградовым. Помню, что меня привели в какой-то таинственный дом. Профессор (мама сказала: светило педиатрии!) сидел у горящего камина. Я еще только впервые в жизни видел пылающий камин. Выслушивая меня, профессор хмурился, очевидно, что-то было не так. Но я, как настоящий пироман, был совершенно заморожен огнем в камине: ну надо же, целый костер в комнате! Комната была очень большая, скорее это был небольшой зал. Назначено было прийти еще. Мама, видимо, не смогла отпроситься в нужный день, и визит пропал. И вдруг, совсем вскоре, из газет стало известно о группе врачей-вредителей, среди которых черным по белому значилось имя и нашего светила. Я был потрясен маминым потрясением. Вот когда я был действительно на волосок от гибели... Ведь он мог бы подсыпать мне яда или незаметно сделать пункцию, от которой, достоверно известно, уже многих ребят разбил паралич. Недаром, наверно, был и этот костер в комнате, что-нибудь здесь было не так.

Вскоре профессора полностью реабилитировали, но это событие прошло настолько тихо, что мы узнали о нем только спустя годы.

За галантереей шел малюсенький, почти игрушечный табачный магазинчик, магнетически притягивавший меня. Мне всегда, с самого нежного детства хотелось курить. Первые в нем покупки – папиросы «Бокс», «Огонек» и коротенькие сигареты для мундштука «Южные» и «Новые». Все самое дешевое. Кажется, «Бокс» стоил старыми деньгами 43 копейки. Хотя покупали мы (впрочем, не так часто) самые дешевые, но уже тогда заглядывались и на дорогие. Очень хотелось попробовать «Друг» (3 руб.) и «Тройку» (4 руб. 50 коп.). Еще волновала своей как бы зарубежной элегантностью пачка «Фемини». Это все были сигареты экстра-класса, с мундштуками из золотистой бумаги (сигарет с фильтром тогда еще не придумали). Я, конечно, был зелен для таких серьезных покупок, а Толику Кривому уже продавали. Он и был в этом

деле моим первым учителем, натаскивал, как правильно курить словно резанные пополам, укороченные сигареты «Южные».

– Надо брать сухими губами, не слюнявь, понял? Это тебе не папиросы.

Но я частенько заходил в табачный и без Толика только для того, чтобы просто подышать этим чудесным табачным воздухом. Как раз рядом с табачным находилась уже знакомая нам парикмахерская, в струе одеколонного воздуха из которой приятно было пройти даже мимо. Потом, кажется, шла еще одна галантерея, дальше – очень серьезный в нашей жизни магазин «Охотник» и, наконец, гастроном «Южный». О каждом из этих уважаемых заведений можно рассказать историю, и не одну.

Пожалуй, также безопасно, как в парикмахерской, было еще только у папы в пошивочной. Не в той публичной части ателье, где в долгом ожидании томились клиенты и всем распоряжалась ярко накрашенная приемщица, – а на его закулисной половине, где неторопливо, но споро трудились портные и закройщики. Тут строчили машинки, прихлопывали утюги, и от них шел замечательно уютный запах паленой ткани.

Мне кажется, сам характер ручного труда действует на ремесленника успокаивающе. Портные – народ спокойный и приветливый, в их обществе никогда не услышишь травмирующих разговоров о сокращении штатов. Уж сколько раз я слышал о будто бы беспробудном пьянстве портных, но никогда не видел их пьяными.

Папа часто, как молитву, повторял, что в его работе главное – адское терпение. Вещь надо сметать, примерить и посадить. Притом еще фигуры у людей бывают разной категории сложности. Одни ноги чего стоят: они бывают О-образные – вот такие – (), Ха-образные – это примерно вот так:)(и, реже всего, – прямые: П. Клиенту обязательно надо угодить. Мамина работа была очень ответственная, в общем-то непонятная и потому вызывала к себе немотивированное уважение. Когда я смутно думал о своем будущем, я представлял себя кем-то вроде мамино начальника Пэ Фэ – Петра Федоровича. Папина работа, напротив, была очень понятная и, лишенная тайны, не вызывала никакого уважения. Мама называла ее холуйской, хотя мы все от нее неплохо кормились. Угодать клиенту казалось мне последней степенью унижения, хотя не отвлеченно теоретически, а совершенно практически я всегда бывал душевно рад посидеть в папиной пошивочной. Категория престижности, хотя и несформулированная, уже и в те давние годы как-то все ставила с ног на голову.

Портные напоминали мне парикмахеров: их руки были заняты, а языки свободны, и здесь тоже любили радио.

– Ивановна, голуба, приготовь-ка мне кипятку, – просил мастер.

– Что, как сегодня много бритья! – ворчала Ивановна.

– Угу, – мычал мастер.

– Угу, – говорил папа клиенту, так как рот его полон был булавок или воды, которую надо выпорскать на отпарку.

– Дядь Паш! Сделаешь мне к зиме настоящую канадскую клюшку? – спрашивал я нашего домового столяра.

– Угу, – отвечал дядя Паша, так как рот у него был занят гвоздями, и он продолжал ладить гроб для очередного начальника.

Впрочем, вот где гроб был не страшен, так это в мастерской у дяди Паши. То ли потому, что все-таки это был еще не совсем гроб, а пока так себе, столярное изделие, то ли по какой другой недоступной моему уму причине, но я даже мог до него, правда, очень-очень быстро дотронуться. И все же загадка смерти оставалась настолько великой, что свой отважный палец я больше ни на что не употреблял до самого дома, где долго и тщательно его мыл.

– Вот еще, – говорила мама, – то его умываться не загонишь, то не выгонишь, иди немедленно есть!

Как ни был я мал, но и мне было заметно, что парикмахеры, столяры и портные – в основном спокойны и доброжелательны. В столярке у дяди Паши бывало очень уютно, и я мог часами смотреть, как он работает, и вдыхать замечательно приятный смолисто-стружечный запах. Таких «клиентов», как я, было у дяди Паши видимо-невидимо, и они постоянно толклись в столярке, просили и кланчили, и не помню, чтобы он хоть раз вышел из себя и накричал на нас. Нечего и говорить о том, что никакое изготовление клюшек или других забав для детворы не входило в его обязанности. Я всерьез думаю, что дядя Паша был из какой-то другой, нынче вовсе позабытой породы русских людей. Главное, что никто и ничто не действовало ему на нервы. Разговор о нервах как-то вообще не вязался с этими людьми. И портной, и столяр не зависели в своей портновской и столярной работе ни от чего, кроме своего умения. Беспокойство овладевало людьми партийными. Им почему-то недостаточно было жить, дышать и работать, но вульгарную практику надо было постоянно проверять теорией. А так ли ты живешь, дышишь и работаешь?

– Если бы ты немного укоротил свой длинный язык, если бы ты не молотил всякому встречному и поперечному, какие ты страшные тыщи зарабатываешь, может быть, и мне бы премию дали. А то – смех: Анне Яковлевне дали, даже Шашуриной дали, а Лапиной можно не давать. У Лапиной, видите ли, муж – известный миллионер, – атаковала мама.

Маму, как коммунистку, смущало, что папа подхалтуривал. Точнее не сам факт подработки, а то, что папа не особенно таился с этим делом. В конце концов, не воровал же! А зарабатывал за счет собственного досуга, отдыха и адского терпения. Признаться, меня это тоже смущало. На наш с мамой взгляд, это было и незаконно, и нечестно, и даже немного преступно.

Власть, не умея накормить своих граждан, никак не хотела отпустить их на вольные хлеба, зато отменно преуспела в том, чтобы они жили с чувством постоянной вины и нечистой совести.

– Прошу, не мели языком с кем попало. Достукаешься, что придет фин, – предостерегала мама.

Я много лет жил в неведении, кто такой этот «фин»? Это кто-то вроде милиционера? Понимал только, что ничего хорошего для нас его визит не сулит. Иногда, в случае каких-нибудь неприятностей на папиной работе, мама всерьез готовилась к приходу фина. Тогда аврально перерывались все помойные ведра в поисках обрезков ткани, подкладки, бортовки и даже ниток.

Папины «миллионы», конечно, были чистым мифом. До 1957 года мы жили очень скромно: железные, крашенные грязно-голубой краской кровати – на одной побольше и как бы побогаче, с увесистыми отвинчивающимися по углам медными шарами, спали папа с мамой, когда мама работала не в ночь; на другой, «валетом» – мы с младшей сестренкой. Старший брат спал отдельно на диване. Диван к тому времени дядя Паша перетянул, и из домашне-матерчатого, но продранного он сделался казенно-дерматиновым, зато целым. Над позорно желтой дерматиновой спинкой была полочка, устроенная, вероятно, специально для семи слоников, что в наше время считалось и оберегом и одновременно мещанским символом семейного счастья. Но слоников у нас не было. И, я думаю, не от избытка вкуса, а потому что их невозможно было «достать». Настоящим папиным оберегом была мама. Ее атаки на папу носили профилактический характер. Были, были в папиной трудовой биографии и левый товар в несметных количествах, и какие-то липовые накладные. Под маминым твердым водительством карающие за это пули свистели хоть и рядом, но всегда мимо. То есть папа никогда в этих левых делах не участвовал.

3

У окна стояла наша кормилица, машинка фирмы «Зингер», посередине – обеденный и он же письменный и рабочий стол. Вечерами, плотно обсев все его концы, под идиллическим, несколько пыльноватым, темно-оранжевым абажуром, мы дружно приближали светлое будущее. У меня из трубы А в какой-то бассейн, который не принимал в моем воображении никакого образа, с шумом вливалась вода; у папы шипел и прихлопывал утюг, вызывая недомогание безупречных овалов букв и цифр в моей тетради, к чему я относился совершенно стоически, так как тетрадь уже заканчивалась. Это начинаешь каждую новую тетрадь с желанием создать шедевр каллиграфии. Брата с нами не было, он ходил в свою Первую Ленинскую по вечерам, во вторую смену, но его место за столом было обозначено его чернильницей. В их школе писали фиолетовыми чернилами, а в нашей – черными. Брат был своеобразен не только в этом. Мне иногда очень хотелось пописать его фиолетовыми чернилами, но это было бы диким нарушением дисциплины. Скорее брат мог что-нибудь написать в своей тетради моими, черными, но он этого не делал потому, что вообще не делал домашних заданий. Убегая куда-то по своим таинственным «делам», он командовал мне:

– Вовка, разбросай мои учебники на столе, чтобы мать не догадалась.

«Ладно уж, что сам ты никогда не делаешь уроки, но хотя бы от других не требовал создавать видимость тяжких трудов», – мысленно ворчал я, так как вслух моему старшему брату было невозможно противоречить.

На другом конце стола сестренка – бескомпромиссная отличница, рвала из тетради лист и начинала все сызнова, то есть – не данную домашнюю работу, а и все, что ей предшествовало на вырванном двойном листе. Это вместо того, чтобы подчистить ошибку бритвой, заполировать раненое место ногтем, вписать, что надо, – и все дела. Подчисткам я научился у старшего брата, и это здорово выручало. Но отличницам свой ум не вложишь. Это особые существа. У них все должно быть действительно без единого изъяна. То ли дело у меня – задачки так и отскакивают.

– Пап, еще одну решил, – похвастался я.

– Зоя, это будет не ребенок. Это будет что-нибудь особенного, – сказал папа свое привычное, мирное, любовное.

Зоя, то есть мама, что редко ей выпадало, сидя на Валеркином диване, что-то вышивала. Полуулыбка какого-то воспоминания витала на ее добром лице.

– А я сегодня на закрытом партсобрании покритиковала министра, – вполне миролюбиво сказала она.

Папа как раз только забрал в рот воды (труба Б), чтобы прыснуть на отпарку. Глаза его увеличились, и вода побежала по подбородку.

– Как, – наконец выдохнул папа, – самого Бещева?

– Да, представь себе, самого Бещева. Ведь он такой же член партии, как и я, – слегка горделиво сказала мама, показывая в улыбке прелестные, мои любимые ямочки на щеках. – Подумаешь, невелика птица, – добавила она.

– Так, – тяжело вздохнул папа, держась обеими руками за «кобылку», на которой гладил, и слегка раскачиваясь. В этот момент во всей его фигуре был врожденный еврейский трагизм.

– Пожалуйста, без обмороков, – с легкой насмешкой сказала мама. – Если бы ты не был таким аполитичным, то давно бы знал, что мы должны постоянно развивать критику и самокритику, – еще довольно спокойно добавила она.

– И я должен? – с убийственной иронией спросил папа.

– Безусловно. Ваш заведующий Уткин – типичный самодур, а вы молчите.

– Зачем молчу? – огрызнулся папа по инерции.

– Во-первых, не зачем, а почему? А во-вторых, надо пререкаться с ним не в закрытой, а на партсобрании, в официальной обстановке встать и сказать. Ты хоть и не член партии, но тоже имеешь право прийти на открытое партсобрание и заявить...

– И сесть тебе на шею? Вместе с детей?

– Правильно сказать – с детьми, – сказала мама.

– Ты хорошо знаешь русского языка, с детей, с детьми – какая разница! – говорил папа, накаляясь. – Я говорю – и сесть тебе на шею? Ты не слышишь или что?

– А тебе хоть кол на голове теши, ты своей кишиневской головой все равно не поймешь! Ты же политически бли-зо-ру-кий товарищ, – сказала мама, отбросив пядьцы и заодно сменив мечтательное выражение лица на другое, привычно бойцовское.

– Нет, Зоя, я не близорук, Зоя. Я, к сожалению, слишком хорошо вижу. Но я, Зоя, не вижу ни-че-го хорошего!

– Что? – угрожающе проговорила мама. – Ты в нашей стране не видишь ничего хорошего? И эту антисоветчину должны слушать мои дети? Немедленно прекрати! Или я вышвырну тебя из моего дома.

Я вскочил и обнял папу.

– Детей настраиваешь? Да я тебя придушу вот этими руками!

– Зоя, не лезь в лицо.

– Я из тебя вышибу эту контрреволюцию. Я тебя...

– Не лезь! Не лезь, Зоя, в лицо!

– Ты у меня вот где будешь!

– Зоя, Зоя! – Папа беззвучно затрясся всем телом.

Я тоже заплакал вместе с ним. Танька тоже заплакала, но особо, отдельно. Брат Валера, если и бывал дома, в скандалах, сколько помню, ничьей стороны не занимал, обыкновенно запираясь с газетой в уборной. Думаю, для него уборная была тем же, чем для меня – парикмахерская. Это было его убежище.

4

Из-за внезапно разразившегося скандала я совсем потерял нить своего рассказа. Я, кажется, рассказывал, как была обставлена наша комната и прервался на столе. Так вот – стол. Под его столешницей невидимо для взрослых были устроены четыре потайных полки – место всех моих кладов и записок. Еще одно отличное место для притырок было в дугово-пыльном нутре дивана. Независимо от меня, в диване же, но в другом его углу прятал в отслужившей свой срок отпарке отложенные на отпуск деньги папа. В его записку я даже из любопытства никогда не заглядывал. Я предполагал, что там – деньги. Но была в моем прошлом одна не очень красивая история...

Если вылезти из дивана и посмотреть направо, на подоконник, увидишь в горшках многорусные, мясистые алоэ. Это была мамина «аптека». Неползущих, а, скажем, просто красивых цветов мама не разводила.

В доме было несколько книг, и почти полностью вышедшее к тому времени собрание сочинений Льва Толстого в двенадцати томах, в приятных, серо-голубых переплетах. Я еще и в школу не ходил, когда Валерка, учась, кажется, в пятом классе, установил абсолютный семейный рекорд, прочтя все четыре тома «Войны и мира».

Как только я начал читать, рекорд брата стал для меня сильнейшим раздражителем. Я пытался его побить уже во втором классе, прочтя за три дня толстейший роман Болеслава Пруса «Шпион». За чистотой спортивного достижения следил весь санаторий, где я тогда находился. Эту книгу в библиотеке я выбрал не случайно: немного пугавшая толщина должна была, по моим предположениям, окупиться занимательностью повествования. Все-таки – шпион.

Расчет не оправдался: не пропустив ни одной буквы, ни одного скучного описания, я не понял во всей этой огромной книге ни аза. Эксперимент принес отрицательный результат – моя страсть к самостоятельному чтению на некоторое время остыла.

Тоже очень пухлая, еще довоенная книга «Тихий Дон» в матерчатом, темно-коричневом переплете всегда лежала на подоконнике и принадлежала маме. Книга, видимо, как-то связывала маму с ее родиной, с ее глубоко русским, и не просто русским, а казачьим прошлым. Когда папа говорил, что надо положить деньги на книжку, я так себе и представлял: книжка «Тихий Дон», на нее кладутся зачем-то деньги. Само название «Тихий Дон» очень мне нравилось и подтверждало мою смутную догадку о существовании какого-то другого, идеального мира. Представление это держалось во мне довольно долго, из чего читатель легко сделает вывод, что я еще очень долго не читал «Тихого Дона».

Единственная в доме фотография висела над родительской кроватью. На ней была изображена молодая, и, как считалось у нас в доме, очень красивая, немного старомодно одетая девушка – папина сестра, попавшая в 1941 году вместе с папиными родителями в Одессе под бомбежку. Все они там и остались. Особенно чудовищно, что вместе с ними погиб только что родившийся младенец – сын папиной сестры, а мой двоюродный брат. Я как-то почти не чувствовал трагизма этого события, ведь я никого из них никогда не видел. Это произошло за четыре года до моего рождения. Иногда, выпив, папа горько и неутешно рыдал о своей дорогой сестренке Женечке и всей своей довоенной жизни. Дело в том, что папа родился в Кишиневе, который был в то время частью Румынии. Таким образом, наш папа родился и вырос в монархическом государстве и был подданным короля Михая. Это страшно интриговало старшего брата Валеру, имевшего склонность к истории, и он несколько провокационно выпытывал у папы подробности многопартийного уклада довоенной Румынии. Ну, ясно, тут был расчет на то, что о многопартийности услышит мама, и ее большевистский догматизм, ну, конечно, не поколеблется, а так, будет слегка оцарапан. Папа, не замечая подвоха, поддавался и раз даже как-то сверх программы, то есть не на вопрос отвечая, вздохнув, сказал:

– Когда в сороковом году нас освободили от свободы...

Валерка был в восторге. Мама сильно нахмурилась, но на сей раз не стала делать историю.

Мамина партийность была несовместима с верой в Бога. Как ей, должно быть, бывало и грустно, и одиноко. Мамин приемный отец (и боевой друг моего погибшего в Гражданскую деда) Никанор Иванович был с ее слов добрейшим, но, видимо, несколько слабохарактерным человеком. А мачеха заставляла ее, еще совсем девочку, делать не только непосильную, но еще и очень противную работу. Например, выносить за нею ночные горшки и ставить клизмы.

– И ладно была бы немощная старуха, так нет – здоровая, цветущая женщина. Все – от переедания. Намнется за целый день, – ведь сроду никогда не работала, – а потом: «Зюечка, боли-и-ит». А папу так запугала, что...

Страдающая мысль мамы, видимо, все кружила вокруг одного и того же: были бы живы родные папа и мама... Притом папа – красавец, высокий, видный. Грамотный. А Никанор Иванович, конечно, незлой, мягкий человек, но неграмотен. Герой Гражданской, а работал грузчиком... Да, во всем свирепом цветении своего сиротства мама не могла пойти в церковь и помолиться за покойных родителей. А партком, что ж партком? Партком – совсем сухая инстанция. Там за других молятся...

Что касается меня, то мне в деда сгодился бы и неграмотный Никанор Иванович, если бы он жил поближе, а не в Ставрополе. То есть его я и таким, вдали живущим, считал за деда, но это не то же самое, как если бы он жил с нами. Единственной родней была тетка Нюра, мамина сестра, тоже удочеренная из детдома, но в другую семью, почему у родных сестер не только фамилии, но даже отчества были разные. Про нее слышно было, что она малограмотная и верующая, что казалось едва ли не синонимами.

Папина беспартийность оставляла ему большую свободу, и он понемногу и верил, и даже ходил в синагогу. Иногда мама по еврейским папиным праздникам готовила как бы специально для него фаршированную рыбу и мацу в яйцах. Надо сказать, очень вкусно готовила, не из одной проформы. Внешне, как бы уступая, так сказать, папиной малограмотности и некультурности. Готовила, приговаривая что-нибудь фельетонно едкое. Вроде того, что: «А я и не знала, что выхожу замуж за религиозника». На самом деле тут была маленькая хитрость. Это был единственно возможный для мамы способ легально и ненаказуемо поучаствовать в религиозной жизни. Папа вполне добродушно и даже компромиссно отвечал: «Религиозник, но – не фанатистичный. Верю, но – относительно».

Постепенно мы все, независимо от национальности, признали мацу, хотя даже внешне она так навсегда и осталась за папой. Это были такие тонкие и хрупкие, выпеченные из пресного теста гофрированные листы, кое-где подрумяненные (как бы папиным утюгом) и часто простроченные мелкими стежками-дырочками (как бы на папиной машинке). Папа и мама, разные во всем, в одном сошлись на всю жизнь. Оба были круглыми сиротами, причем мама – еще с Гражданской. Оба в Москве не имели ни родни, ни друзей. Я еще не знал, что через них и я, и Танька, никогда не знавшие ласки ни бабы, ни деда, тоже будем понемногу сиротствовать... Ведь родители, как правило, по молодости лет многого еще не понимают. Старшие смягчают брызжущую не туда молодость.

Только у Валерки была в Москве родная бабушка, которую и мы с Танькой считали как бы своей. Хотя кровно она была нам с Танькой – никто. Я любил бывать в идеально чистой маленькой комнатке Александры Михайловны на Дзержинке. С горой мал-мала подушек на кровати. Все белье было в подзорах и прорезных вышивках «ришелье». Вообще все в комнатке было в подушечках, шитых чехольчиках и рукодельях. К столу подавался в неограниченных количествах темно заваренный чай с казавшимся мне очень вкусным в отличие от такого же домашнего вишневым вареньем. Но отдельным удивлением я удостоил сахарницу с бесформенными в ней кусками сахара-рафинада. Если бы не кипельно-белый их цвет, могло бы показаться, что это куски базальта. К сахарнице прилагались щипчики – колоть этот базальт на мелкие кусочки. Я изумлялся способности бабушки выпивать по пять-шесть стаканов. У нас в доме таких чайных церемоний не водилось, сказывалось, очевидно, южное происхождение мамы и папы.

В том же доме на Дзержинке жили еще пять или шесть Валеркиных теток и дядьев и некоторое количество двоюродных братьев и сестер, но все они не могли заменить ему отца. Валеркин отец погиб в 43-м. Все многочисленные тетки были на редкость нелюбовны. Одна, например, сдала собственного сына в детдом. Молодая, мелкий, летучий прах в голове. Притом – центровая, а совсем рядом ресторан «Савой», а там полковников, что махорки... Я, например, этих теток своими уж точно не считал, хотя испытывал к ним безотчетную симпатию.

– Эгоистки! – рубила о них мама.

Я, наспех гармонизируя наши с братом отношения, считал своего отца как бы и его отцом, как бы одалживая ему своего папу. Едва народившись, я уже застал именно такой порядок вещей – без предков. Его я и считал нормой.

Мало у кого из ребят в классе были полные семьи. Сплошь и рядом недоставало не только бабушек, но и отцов. И потому в том послевоенном быту часто простое, но длительное знакомство почиталось как бы за родственные узы. Теща моя и до сих пор все рассказывает о каких-то своих рыбинских тетках, хотя, как показало семейное расследование, они ей такие же тетки, как я – сын.

Так, скрадывая противоестественную в бесконечных войнах и революциях убыль, люди, прислоняясь друг к другу, восполняли естественную потребность в многочисленной родне. Так, зализывая раны, нация в спасительном самообмане азартно считалась несуществующим родством.

5

У наших соседей – Володи и Мары, как и у брата Валеры, – была бабушка, но так же, как у Валеры, не было отца. На той же стенке, где у нас висела фотография погибшей Жени, но с другой, соседской стороны висел портрет их отца – лейтенанта Варшавского. В память о погибших отцах и Валера, и Володя с Марой носили их фамилии. Для единоименных соседей это было правильно и естественно. Зато в нашей семье, состоявшей из пяти человек, было целых три фамилии. В свое время мама категорически отказалась взять папину фамилию, сказав, что и прежнего мужа фамилии не брала. Достаточно того, что фамилию родного отца Андрея Антипова приемные родители, не спросясь, заменили на свою. «И вообще, сколько можно надо мной издеваться?»

Володя и Мара, оба старше меня на десять лет, уже учились в институтах. Елена Марковна, по выражению папы, одолжившего его из маминой лексики, «их одна тянула». «Ну, положим, не одна, – говорила мама, красноречиво показывая глазами на восьмой этаж корпуса напротив, – а с хахалем...»

Иван Петрович был очень большой начальник, что видно даже из того, как высоко он жил. Мы вот жили на четвертом этаже. Я видел Ивана Петровича только издали, но почему-то симпатизировал ему, не проявляя в данном случае должной последовательности в своих взаимоотношениях с начальниками. Может быть, потому, что он был как бы папой Володе и Маре. Как бы – потому, что он никогда не появлялся у нас. У Ивана Петровича была по-военному обритая голова, умное и одновременно доброе русское лицо.

– Между прочим, этот хахаль – генерал, – говорил папа значительно.

Как потом выяснилось, генерал КГБ. А что это означало в каком-нибудь 1958 году, неизвестно. Иван Петрович еще очень долго оставался влиятельным человеком, а вот это, скорей всего, означало, что он занимался реабилитацией невинно осужденных по 58-й статье.

– Я шил многим генералам, – добавлял папа, и гордясь своей приближенностью к комсоставу, и одновременно намекая на то обстоятельство, что, вообще-то говоря, генералов не так уж мало, а такой закройщик да притом владеющий западным кроем, – чуть ли не один на всю Москву. Выше себя папа признавал только закройщика Зингера. Да и то потому, что уж больно громко за того говорило само место его работы: ателье «люкс», и не какой-нибудь «люкс», а гумовский.

– Тоже владеет западным кроем, – как бы нехотя признавал папа, – но... меня ведь учил Володя из Львова, а его... я не знаю кто учил.

После этого уточнения гумовское «закройщичество» Зингера должно было сильно пошатнуться, а его успех представиться игрой слепого случая.

Несколько лет назад папа начал учить меня еврейскому языку. Не совсем серьезно, так, отдельные слова. «Если уж у ребенка нет ни одной бабушки и ни одного дедушки, пусть у него будет хотя бы двух родных языков». Я отчасти из лени, отчасти из тайной неприязни к самой мелодии языка, на котором папа, по выражению мамы, «халя-малякал» со своей кишиневской родней, эту учебу тихо саботировал. Но еврейский язык все-таки в доме звучал. Обычно, забываясь за шитьем, папа пел то одесские песенки с веселыми опереточными мотивами, то заунывные нескончаемые псалмы.

– Прекратить еврейщину в моем доме! – прессинговала мама.

– А на сколько языков должен говорить ребенок, если его отец говорит на пять? – пытался свести все дело к шутке папа.

Но потихоньку он от меня отступился и уже исподтишка стал подучивать сестренку. К их занятиям прислушивался и я. Выходило, что я не прочь заниматься еврейским, но только заочно. Сказалась всегдашняя компромиссность моей натуры. А попробуйте вы быть беском-

промиссным в таком многонациональном семействе, как наше. Мама – казачка, иначе говоря, радикально русская женщина. Папа – бессознательный, стихийный еврейский националист. Брат – частично латыш. То есть единственно органичную народную силу – маму – окружали все те же латыши и евреи, как и в 1918 году. Самое парадоксальное, что и я, выходит, окружал...

Мама всегда посмеивалась над папиным русским. Как-то незаметно и мы в это втянулись. У мамы была одна амбиция-воспоминание.

В четырнадцать лет она уже преподавала русский в ликбезе взрослым дядям, звавшим ее уважительно по имени-отчеству. Эти главы маминой жизни устно публиковались ею под общим заголовком «Когда я учительствовала» и пользовались у нас неизменным успехом. Мама, а вслед за ней и мы с Валеркой, всегда посмеивалась над папиным русским, и только одна сестренка смеяться не стала, а, как и полагается хорошей пионерке и отличнице, решила папу «подтянуть». О чем-то они иногда шушукались, что-то папа как будто даже писал в тощей тетрадке под дочкиным руководством?.. Мама, вообще ревновавшая нас к папе, как-то раз, увидев эту тетрадку, неделикатно уколола его. Неумело подражая еврейскому акценту, она сказала:

– Мойша! Ты уже решил стать русским писателем?

В то далекое время за счет, видимо, вечно беспринципного стремления к миру папе иногда удавалось гасить напряженность. Папа ответил:

– Зочка! Русская грамматика... – тут папа посмотрел на свою строгую дочку: так? Так-так, – кивнула она. Папа, получив укрепление и поверив в себя, закончил совсем смело: – Русская грамматика, Зоя, будет овладена!

Мы погибли от смеха. Я свалился под стол и там корчился. Папа тоже смеялся от души, луча простодушно-хитроватые морщинки у глаз.

О, как неторопливо-поспешно ползет-летит время! Какие нам оставляет материальные доказательства действительности всего с нами бывшего? Что из вещей, окружавших меня в детстве, еще живо? На какой помойке истлела черная тарелка радио, большой белый фарфоровый слон с одним неосторожно отбитым бивнем? Слон, призванный один заменить семь мал-мала слоников на счастье. В какие археологические слои ушли все бесчисленные осколки разбитых тарелок и чашек? Куда канули тюлевые покрывала и накидки и самые подушки, в которые что пролито было детских неутешных слез и впитано scarлатинного и прочего пота? Где, позвольте вас спросить, этот несокрушимый, казалось, четырехногий заслуженный стол с потайными полками, с двумя выдвигающимися с двух сторон приставками, за которым сколько всего было съедено, выпито, исписано и сшито? Где стол этот довоенный, еще Николай Федорович, покойник, покупал, Валеркин папа? Что стол! Где, позвольте спросить, все сшитое на нем с помощью адского терпения, и где самые заказчики? Где этот трофейный немецкий ранец из претолстой, розовой свиной кожи, практически вечный, где? А швейцарские часы, привезенные Николаем Федоровичем с полей сражений? Где это все? И где мама?.. И только неунывающая машинка «Зингер» все еще, слава Богу, иногда стрекочет под папиными ногами...

6

Иван Петрович – очень большой начальник и хороший знакомый соседки Елены Марковны – никогда не появлялся у нас в доме. Мама, иногда прикинув к кухонному окну и орлино прищурясь, оповещала всех бывших здесь:

– Вон наша. У хахаля!

Мама, будучи, так сказать, в законном, даром что не очень желанном, браке, чувствовала некое нравственное превосходство над Еленой Марковной. Удивительно только, что уравнивавшее их вдовство никак не остужало маминой головы, не делало ее терпимей...

Что же тогда нарубал своей красноказацкой шашкой дед Андрей, если и в мирное время под его дочкой конь храпел?

– Зоя Никаноровна, как вам не стыдно при детях, – шамкала своим беззубым ртом горбатая маленькая старушка – мать обвиняемой. Она была такая горбатая и старая, что я не считал ее за вполне живую. В моей жизни не то что старых, но даже пожилых людей не было, и я сделался как-то нечувствителен к их существованию.

– Это мне должно быть стыдно? – прикладывая правую руку к груди, мгновенно вспыхивала мама и, победоносно распрямляя ее и указывая на известный этаж, немного в духе Малого театра, патетически заключала: – Нет, пусть это будет ЕЙ стыдно!

Слишком выигрышным было мамино положение, и все-таки она им пользовалась. От этого действительно было как-то не по себе.

Интересно, что, пока дома все хорошо, я ничего вокруг себя не вижу отдельно от себя. Я – со всеми, и все – со мной. Но как только кто-то из взрослых покажет свою мелочность, несправедливость, использует в споре сведения, к которым получил доступ в другой, мирной обстановке, по любви и доверенности, – я перестаю сливаться с происходящим. Я обособляюсь и с этой минуты все вижу со стороны. Я – не с вами и потому получаю право широко открыть глаза, которые обычно, в состоянии любви и согласия, у меня за- или полужакрыты. Я выхожу из согласия и получаю право НИКОГО НЕ ЛЮБИТЬ и видеть все, КАК ОНО ЕСТЬ. В этом состоянии есть очень противное. Это отпадение от всех. Отпадение с привкусом измены. Я же немо отпал. Никто ведь не знает, что я теперь сам по себе. Но есть и прекрасное, и головокружительно новое. Это чувство свободы. Я рву пуповину, я не подписывался всю жизнь жить по вашим дурацким правилам НЕЛЮБВИ.

Я еще не понимаю, что беру всего-навсего уроки того, как НЕ надо. Что в том, что мне открылся образ безобразия, еще нет никакой моей заслуги. Мне кажется, что раз я так отчетливо вижу, насколько нехорошее нехорошо, то я уже как бы автоматически знаю и то, что хорошо и как надо. Мне кажется, что отрицательное знание ходит парой с другим положительным знанием. Но, слава Богу, ребенок крепко защищен. Слава Богу, новые «знания» мимолетны и так же легко покидают нас, как и приходят к нам. Возможно, это вообще не наши, не детские мысли и чувства, а сообщившиеся нам из-за слишком большой эмоциональной плотности мысли и чувства взрослых... Невинность возвращается к нам, как только устанавливается, хотя бы и ненадежный, мир. Но взросление уже пошло. И в той легкости отпадения содержатся неважные залого.

– Ну какой ты сюда пришел? Вспомни-вспомни! Грязный, вонючий, из ушей текло... И в одной рваной шинели. По-русски ни бум-бум...

Мне становится беспричинно страшно. По моим наблюдениям, папа был всегда. В этом я уверен. Мне вот теперь уже десять лет. Это очень большой срок – начала не разглядеть... вагоны, вагоны... запах паровозного дыма... и где-то далеко, в складках этого дыма маленькая фигурка отца, который – нет, только вдуматься! – в рваной шинели, не владея русским языком, должен как-то пробиться сюда, где мы все сейчас.

Для мамы, видимо, нет длинного поезда целой моей жизни, для нее – отец пришел прямо вчера. Это очень странно и недостоверно. «И ведь по-русски ни бум-бум...»

... Из туманного, неясного прошлого можно и не попасть в такое ясное и твердое настоящее. Там все хлипко и ненадежно. Там в хлюпающих испарениях болот бродят унылые, невоплотившиеся тени, потерявшие твердую почву и надежду. Там навсегда остались Николай Федорович, Валеркин папа и все мои бабушки и дедушки. Все они захлебнулись в болотах прошлого, потому что в прошлом вечно то война, то революция. Невозможно и сравнивать развоплотившееся прошлое и уверенное настоящее. Там – вся тень и все сомнение, тут – все солнце и вся правда. И мамина правда о не совсем бывшем как-то разрушает вот эту несомнен-

ную, теплую и настоящую. Мамино знание о прошлом высокомерно, она может прикрикнуть на меня: «Помолчи! Это было тогда, когда тебя еще не было на свете». Какой ужас! Что ты говоришь, что ты делаешь, мама?! Так папа никогда не доберется до нас. Сколько превратностей, сколько развилочек и опасностей на его пути. Боже милостивый, помоги папе!

Страх высоты

Я уже говорил, что, когда Валерка слишком далеко вывешивался с подоконника во двор, я из страха за его жизнь повисал у него на ногах. Я не мог видеть, когда на моих глазах так безумно рисковали.

Как-то Валерка рассказывал, как однажды они с парнями выпивали на крыше нашего дома. Было уже темно. Шел осенний дождь, и крыша была мокрая. Люблю такую погоду.

– И вдруг я, – рассказывал Валера, – как сидел на карачках, так и поехал по крыше под уклон. Представляешь?

Зачем он спрашивал? Неужели не видел, что меня и сейчас, в эту вполне благополучную минуту, мутит и тошнит от опасности, которую он пережил когда-то.

– Я сразу на задницу – хлоп, думал, остановлюсь.

– Надо было хвататься за что попало руками! – сказал и энергичнейшим образом показал я.

– Да я и хватался, только зря руки расцарапал, а остановиться не мог.

– Но у крыши же есть перила, – говорил я, как бы проехав вместе с ним до самого края, нависшего над бездной.

– Они точно есть, но совсем жидкие. Я на них и не надеялся. Ну, думаю, хана.

– А ребята? Они что, не могли тебе помочь?

– Они сами перетрухали и дернули с крыши. Тоже думали – все.

– А ты так и едешь вниз?

– Так и еду.

– И как же? Что же тебя спасло?

Он усмехнулся:

– Самый край крыши знаешь чем заканчивается? Отливом. Таким бортиком небольшим из кровельного железа. (Меня всегда восхищало и удивляло, откуда старший брат знает правильные названия многих вещей!) Как ботинки в него уперлись, я и остановился. Представляешь?

Уй-уй-уй! – как хорошо я себе это представлял.

– А то уж думал, – продолжил Валера, – сейчас попробую – каучук на ботинках настоящий или нет.

– Не понял, – сказал я.

– Анекдот такой есть, – небрежно заметил брат. – На другой день нарочно ходил смотреть, что меня спасло. Оказалось, отлив тоже совсем ржавый был. Труха одна.

– Труха одна? – спросил я, смутно догадываясь о чем-то ужасном. – А как ты узнал, что труха?

– Подполз на брюхе на самый край и потрогал рукой.

Мне при этих словах «подполз на брюхе» стало дурно, а он спокойно говорит, не выхвляясь. Ну, люди! Сами себе цену не знают.

Как-то у нас дома забарахлила телевизионная антенна. А в то время антенна на крыше была у каждого своя. До коллективных ученые не додумались. И это сильно влияло на вид города. Все крыши Москвы были сплошь ошестинены антеннами. Как будто вы попали в странную страну, где живут одни разведчики. И у каждого – своя рация и своя антенна.

Вообще-то множество антенн косвенно говорило о неуклонном росте благосостояния советских граждан. Но по вечерам в полуподвале восьмого подъезда, в домоуправлении, все еще собиралось очень много народа. В сравнительно небольшую комнату набивалось плотно-плотно человек пятьдесят. Здесь был установлен единственный на весь наш огромный дом-

городок общественный телевизор – «КВН – 49» с линзой. И это, в свою очередь, говорило о том, что тот самый рост благосостояния коснулся пока не всех советских граждан. Не все еще имели свой, домашний телевизор.

– Надо посмотреть, в чем там дело, – сказал Валерка, имея ввиду нашу забарахлившую антенну. – А то я телемастера водил, да он больно бздиловатый оказался. Что, Вовчик, пойдешь со мной?

«Да ну да! Телемастер совсем взрослый и то боится», – подумал я, но не хотелось перед братом показаться трусом, и я сдуру согласился. Больше из любопытства. Ведь я еще никогда на крыше не был.

Мы поднялись на восьмой этаж и через маленькую дверь, рассчитанную на слишком приземистого человека, вроде меня, попали на чердак. Голубей же там было! Они время от времени перепархивали с места на место с сильным звуком трепещущих крыльев. С настолько сильным звуком, что я боялся, как бы они не переломали себе крыльев. Весь чердак был усеян их перьями.

– Люблю их варить, – с хорошо мне знакомой, но сейчас такой неожиданной кровожадностью сказал Валерка. – Поймаешь, свернешь вот так, – он показал как, – головку – и в кипяток. Чего их жалеть, – сказал он, увидев мое лицо. – Голуби – те же цыплята. Ты ведь ешь цыплят?

«Сравнил, – подумал я. – Цыплята – совсем другое дело. Они в магазине продаются. Может, это он просто так? Хвалится? Голуби же не дураки. Их еще поймать надо». Я не умел додумывать свои мысли, но выходило что-то вроде того, что цыпленок, выращенный на законной птицеферме, убит тоже с позволения закона и куплен в законном магазине за деньги. Здесь – все честно.

– Но сначала ты их ловишь? – спросил я в надежде, что он как-нибудь запутается и все обойдется миром.

– Проще простого. Делаеть петлю из веревки или суровой нитки, крошишь вокруг хлебом и ждешь. Только он, субчик, зашел лапкой в петлю – дерг! – и тут же хватай его. Потом головку ему «хряп» набок – и все дела.

Нет, он назло говорил неприятное. Ноги мои между тем мягко пружинили по чердачному ковру из убитой пыли и всякого праха. Замечательно пахло чем-то запретным. Свободой, что ли? Над головой вдруг загрохотало, и я вздрогнул.

– Рано пугаешься. Будет страшно – я скажу.

– А там кто?

– Да голубятники носятся.

Вот тоже была особая порода. Встретить их на земле, как прочих людей, было почти невозможно. Может, они так и жили на крыше?

Валерка задрал ногу, подтянулся и спокойно, как в двери нашей комнаты, исчез в чердачном окне. Там он загромыхал кровельным железом. Неужели пошел вниз?

– Иди сюда, Вовчик! – крикнул он.

«Куда сюда?» – подумал я и осторожно выглянул в чердачное окно. Ух, не нравилось мне это дело.

– Вылезай сюда! – позвал брат.

– Я не знаю, как вылезать на крышу!

– Да ладно, не бзди, – уже отвернувшись, сказал он.

Я подтянулся на руках, закинул непослушную ногу на крышу и оказался на коленках на крыше. Но встать совсем не хотелось – ноги противно дрожали. Валерка, медленно пробиравшийся вперед, был уже шагах в десяти-двенадцати. Небрежно придерживаясь за тросы, на которых растягивались антенны, он двигался ниже и ниже.

– Зачем ты идешь к краю? – закричал я.

– Не ори, – спокойно сказал он. – Наша антенна ниже.

– Валер, не ходи туда!

– Да не бэ, тебе говорят. Я должен убедиться, что это наша антенна.

– А как ты убедишься?

– Если в наше окно кабель идет, значит – наша, – ответил он и через паузу добавил: – Тот случай никак не забудешь? Тогда ведь темно было и дождь, да мы – выпивши... Так что не бэ! Понял?

– Вроде понял, – неохотно сказал я, догадываясь, что мне-то, мне... гораздо выгодней вообще не разбираться во всех этих делах со сломанными антеннами. Отстаньте вы от меня, мол, ни бум-бум я, дескать, в вашей технике!

– Ну идешь, что ль? – спросил Валерка.

– Да ты что! – завопил я. – Не пойду я никуда.

– А кто же меня будет держать?

«Ага, держи тебя, – осмотрительно подумал я, – ты вниз поедешь, и меня за собой?». Сильно я пожалел, что вообще ввязался.

– Ладно. Будь на чердаке и следи...

– За чем?

– Чтобы не обоссаться от страха...

Вот гад! Всегда я ловлюсь на этой примочке. Но куда сильнее мелькнувшей обиды была радость, что не надо лезть на проклятую крышу. Очень ловко и быстро я оказался в слуховом окне. Дна колодца, на котором кипела жизнь нашего двора, с моей позиции было не видеть. Зато весь ребячий шум и гомон поднимался сюда. Я убедился, что у слепых страшно обостряется слух. Сидя в чердачном окне, я различал, словно видел глазами: вот кто-то специальной проволочной клюшкой быстро ведет по асфальту железный обруч. От касания двух железяк рождается приятный звук: вжз-вжзы-ы. Однажды мне повезло: кто-то забыл свой обруч. Полдня гонял я его по двору, и больше мне ничего было не надо. Это такое... такое... Как говорит Валера – выше крыши. Я был загипнотизирован правильной и неостановимой работой обруча по металлу клюшки. Я был влюблен. Но установленный мамой закон – в дом никаких железяк! – был неумолим.

А вот с тяжелым звоном, напоминающим стон, отскакивает от асфальта резиновый мяч. Другой, поменьше, словно в истерике бьется о стену. Это девчонки играют в «ляги». Вот взвыло и завизжало железом точило в столярке у дяди Паши. Из корпуса напротив знакомая бабуля привычно-плаксиво поет: «Все-е-ва-а! До-о-мо-ой!» Голос этой бабули я бы не спутал ни с каким другим. Я его слышу помногу раз в день. Видно, этот Всева – тот еще пацан, если его никогда не бывает дома. Старухин голос я узнаю сразу, хотя как она выглядит, не знаю. Но и Всеву я тоже не знаю. Я вообще не всех, далеко не всех ребят нашего двора знаю. Вот их сколько! Тысяча! Миллион!..

Это сейчас родители, желая позвать любимое чадо домой, звонят по мобильнику, мелодичный голосок которого глухо раздается из чрева рюкзака, и говорят в трубку: «Всева! Домой, паршивец!» А раньше... Наш двор с утра до поздней ночи оглашался выкриками бабушек, мам и домработниц:

– Мишка! Быстро домой!

– Зи-ноч-ка! Ку-у-ушать!

– Вовка, сукин сын! Ты идешь делать уроки? Или я говорю отцу, чтобы взял ремень?

– Костя-паршивец! Я кому сказала – домой?!

А вот нежный звук – цок-цок, цок-цок, – это звук отскока порхающего над столом пинг-понгового шарика. Это – правей, а левей – звенят ножи под рукой у точильщика, выбрасывая прекрасные ярко оранжевые фонтанчики искр, на которые можно сто лет смотреть. Вот он, видно, все переточил и опять кричит: «Точить ножи-ножницы, бритвы править!» Кто-то с гулким эхом выбивает ковер. Мелодично и заунывно призывает татарин-старьевщик: «Ста-

рьем берьем! Старьем берьем!» Вот выехал во двор на своем странном велике Сашка-китаец из шестнадцатого подъезда. У него велосипед настолько красивый, что смахивает на женский. Хотя сто раз я убеждался – рама мужская. И название такое странное – латинскими буквами на кривой раме написано «Diamant». Он не похож ни на простой «Прогресс», ни на полугоночный «Турист», ни на девчоночью «Ласточку». У него роскошный заграничный, а не бедный отечественный вид: много никелированных частей и необычная, шикарная раскраска. Ни у кого такого нет. Ход тихий. Руль какой-то весь вывернутый.

Хотя что ж я заврался? Я же на крыше сижу и не могу по звуку определить велик Сашки-китайца, потому что у него, считай, нет никакого звука – бесшумный он.

– Смотри, – сказал неожиданно подобравшийся к моему слуховому окну брат, так что я вздрогнул. – Смотри, вон, видишь? – Он тыкал куда-то пальцем.

Я не очень охотно немного высунулся из окна.

– Нет, так не увидишь. Вылези на крышу, не бойсь. Я тебя придержу.

Я нехотя вылез на крышу, как за якорь спасения держась за чердачное окно.

– Туда смотри, видишь?

О-хо-хо! Лучше бы я этого не видел. От этого у меня все кишки в животе опустились.

В той части нашего дома, которая образовывала шапку буквы «П» и непонятно как держалась на нескольких колоннах (я под ними никогда и не ходил, предпочитая проходные подъезды, ведь детство – особенная пора жизни – время страшных, смертельных опасностей), так вот – в той части нашего дома, которая образовывала нахлобучку буквы «П», из окна четвертого этажа вылез на карниз парень в одних трусах. Он страшно курчавый, и все во дворе зовут его Пушкиным. Он уселся на карнизе и, елозя по нему задом, постепенно сдвигается на другой его край. Он медленно, но упорно двигается туда, где у него за спиной не будет подстраховочного раскрытого окна. Пушкин устраивается в уголке карниза, свесив ноги во двор, открывает книжку и, как ни в чем не бывало читает.

– Пушкин! – кричат ему снизу. – Ты что читаешь? Пушкина?

– Не, я к экзаменам готовлюсь, – спокойно так говорит он, как будто сидит не на карнизе над пропастью, а на прочной табуретке в центре кухни. Потом садится боком, а голые ноги вытягивает по карнизу. Такое впечатление, что ему там очень удобно. Из кармана трусов он достает время от времени орех, ставит его на зуб, рукой ударяет по нижней челюсти, а скорлупки сплевывает во двор. Вот оно, безумство храбрых! Почему безумство? Да потому, что никто от Пушкина этого не требует. Он сам так решил...

– Ну ты чего, заснул, что ль? – спросил Валерка. – Пошли домой.

Мы проделали по чердаку обратный путь и вышли на площадку восьмого этажа, прямо возле квартиры, где жила моя ровесница Лера.

«А может, выколоть на руке «Л»?» – подумал я.

Спички

Когда мне было восемь лет, наши уголовники только вернулись из тюрем. И вот как-то они придумали обокрасть бакалейную палатку, которая раньше работала у нас на третьем дворе. Сделали подкоп, залезли туда и все ценное: вино, водку, колбасу – вынесли, а потом собрали нас, малышей, и, показав лаз, запустили туда полдвора. Остроумно, ничего не скажешь. Ясно, что после нас ни одна собака не возьмет след.

Я и сам туда лазил. Юрка-татарин объяснил мне, что нам за это ничего не будет. Я и полез, а Юрка, наверное, сдрейфил. Сладко было думать, что вот ведь, лет на пять старше меня, а переср...л. Но странно получалось. Получалось, что их более старший возраст дает им право трусить? До настоящего ответа, что Юрке-татарину не обязательно самому лазить в палатку, что он выступает в роли, скорей, организатора такой, как я, мелюзги, – я в то время не мог додуматься.

В палатке было полутемно, окна заставлены ставнями, а пахло хозяйственным мылом и подсолнечным маслом. На жестяном прилавке стояли весы, вокруг которых валялись гири для взвешивания и – ух ты! – целая куча мелочи. Ребята бросились на мелочь чуть не в драку. Я тоже вырвал себе горсть серебра для игры в расшибец.

– Что там, Миха? – прошипел кто-то из ребят.

Миха наклонился над огромным фанерным ящиком.

– Спички! – отрывисто сказал он.

Мы бросились на ящик и в минуту все растащили. Я набил за пазуху целую кучу коробков. Грязный оранжевый свитер вздулся на животе уродливой, угловатой горой. После взрослых воров, кроме соли и спичек, здесь ничего не осталось. После нас, малышни, осталась одна соль.

Странно, пока я был там, внутри палатки, мне казалось, что воровать очень весело и интересно. Но как только я из нее выбрался, сразу почувствовал что-то не то: знобило, тошнило и домой совсем не хотелось. Где я спрячу такую прорву спичек? Как пронести их домой, чтобы мама не заметила? Я трусил и нехотя тащился домой. Дома я торопливо вывалил их в шкаф, стоявший в темной прихожей, и прикрыл сверху какой-то рваниной. В этом и состояло все замечание следов. Мне казалось, что в темноте прихожей свет правды не просияет никогда. Как только я от них отделался, настроение стало получше. Я, всегда быстро переходивший от одного состояния к другому, и тут немедленно почувствовал себя прежним и хорошим. Но сто раз права Аркашкина мама: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Папа пришел с работы не один, а с каким-то мужиком.

– Ты что-нибудь видишь? – спросил папа мужика.

– Нет, а что?

– И я ничего не вижу. Вот так: не живем, а мучаемся.

– Какие дела! Исделаем, Ефимыч, – весело сказал мужик.

Я снова почувствовал себя гадом и затаился в комнате.

– Ты только скажи, у тебя чего-нибудь есть? – загадочно спросил мужик.

– Поищем. Румочка где-то была.

– Ой! Люблю я вас, евреев. Сами живете и людям жить даете.

– Ты сначала сделай, – сказал папа довольным голосом. Видно, похвала мужика пришлась ему по вкусу.

– Не спеши, Ефимыч. Какие дела! За лестницей схожу и сделаем в лучшем виде, – сказал мужик.

Я прислушался. Папа на кухне хлопнул дверцей холодильника – наверно, проголодался, искал еду. «Надо их перепрятать», – шепотом подумал я. В темноте коридора я набил спичками

полный портфель и бесшумно выскользнул за дверь. Сначала был план выкинуть их на помойку вместе со старым Валеркиным портфелем, и с плеч долой. Но спичек было жаль. Ведь сколько из них выйдет поджиг.

Я, что редко со мной случалось, спускался по лестнице, как обычный человек, а не обрушивался вниз, как всегда, потому что для того, чтобы сваливаться на каблуках со страшной скоростью, нужно другое расположение духа. Нужно, чтобы ничто не тянуло за душу. На площадке третьего этажа я остановился. Тут жила Наташка – то ли внучка того композитора, то ли что-то в этом роде. А может, у нее спрятать? Вот уж точно никто не догадается. На звонок она открыла сама.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.